

Диктатура пролетариата - это форма насилия, революция - это форма насилия: 100 лет русской революции 1917 года.

Интервью с профессором Юрием Слёзкиным, Калифорнийский университет в Беркли



ЮРИЙ СЛЁЗКИН профессор истории и директор программы евразийских и восточно-европейских исследований в Калифорнийском университете в Беркли. Окончил Московский государственный университет в 1978 году и получил докторскую степень в Университете штата Техас в Остине в 1989 году. В 2008 году он был избран членом Американской академии искусств и наук.

Что вы можете сказать, после 100 лет, о памяти русских революций, февральской и октябрьской?

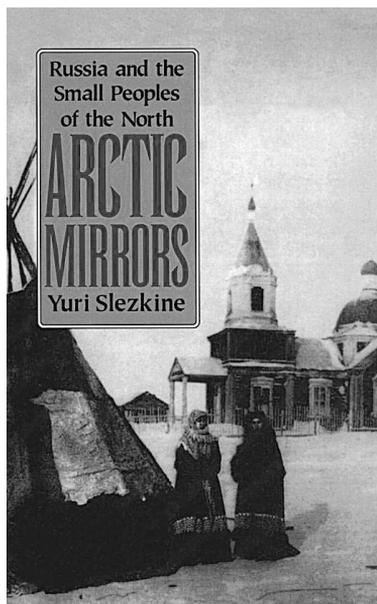
Я думаю, что это зависит от того, с какой точки зрения на это смотреть.

С точки зрения истории. Я обращаюсь к вам как к историку, который занимается непосредственно этим периодом, который может представить его с разных точек зрения.

Ну, как я понимаю, повсюду – в вашем обществе, в российском обществе, в Америке, где я живу – без какого-то отношения к русской революции нельзя себе представить современную жизнь. И, конечно, в первую очередь, это захват власти большевиками, создание Советского государства и коммунистического режима в России. Наверное, главная часть этой памяти, главная составляющая. Об этом можно говорить более конкретно.

Что говорит русская эмиграция в США о революции?

Я не занимаюсь специально русской эмиграцией в Америке. У меня какие-то анекдотические эпизоды всплывают в памяти, но сам я этим не занимаюсь. Есть люди – историки, коллеги, – которые этим занимаются. И, конечно, на этот вопрос нельзя ответить однозначно, потому что в России принято говорить о трех волнах русской эмиграции в Америку. Первая волна – послереволюционная, в значительной степени состоящая из людей, имевших отношение к белому движению, к белой армии; вторая



волна – послевоенная, которая была менее заметна. И третья волна, по большей части еврейская. И наконец, нужно добавить к этой волне поменьше, эмигрантов из уже новой России – многие из них профессионалы, которые находят работу после распада Советского Союза, в рамках так называемой утечки мозгов.

Насколько архивы из Америки, Гувер способствовали изучению революций?

В значительной степени. Гувер – самое лучшее, самое главное собрание по истории русской революции в Америке и, может быть, самое лучшее за пределами России. И это тем более важно, что в Америке история России, история русской революции, Советского Союза – это довольно крупная индустрия. Очень много профессионалов этим занимаются, поэтому важно то, к чему они имеют доступ, чем дышат. В Советском Союзе некоторые архивы были недоступны, в России ограничены. В Россию не все могут ездить. А здесь есть, кроме Гувера, бахметьевский архив, другие.

Важно еще, что в последние годы Гувер купил в разных российских архивах очень хорошие материалы. Это, конечно, облегчает жизнь историков, которые тут базируются.

Важно еще, что в последние годы Гувер купил в разных российских архивах очень хорошие материалы. Это, конечно, облегчает жизнь историков, которые тут базируются.

В Россию, в отличие от Германии и Франции, волна революции пришла с опозданием. Можем ли мы говорить об экспорте революции с запада на восток?

Экспорт, может быть, не самое лучшее слово. Конечно, большевики думали о себе, как о наследниках якобинцев, особенно первое поколение. Не могли шагу ступить, чтобы не подумать, что в этот момент или на аналогичном этапе происходило во Франции, и с чем это соотносится в истории французской революции. Конечно, не все читали Маркса, но, поскольку его тексты стали каноническим писанием, многие, так или иначе, были знакомы с революцией 1848 года, с Луи Бонапартом, ощущали себя внутри канвы марксистского понимания истории, ощущали себя частью вселенской истории. А в этой истории по марксистской схеме главной является революция, поэтому об экспорте можно говорить, но, мне кажется, в меньшей степени, чем о природе самой марксистской и боль-

шевицкой идеологии, ее понимании хронологии, философии истории и ключевой роли революции в этой философии.

Изначальная цель февральской революции – это свержение царя и создание другого общества, другой жизни?

Ну не знаю, насколько можно говорить о том, что у февральской революции была цель. Я не думаю, что можно говорить о цели в каком-то объективном смысле. У разных участников конфликта были разные цели. Но, конечно же, важная часть общества ожидала катаклизма. Очень многие называли это революцией. Это связано с первой мировой войной, но не во всем, потому что мечты о революции, ощущение кризиса и неизбежности конца появились гораздо раньше.

В чем самая большая ошибка Керенского?

Мне трудно ответить. Есть люди, которые гораздо лучше знают эту историю, что и как происходило изо дня в день. Наверное, можно сказать, что он не вполне отдавал себе отчет в силе большевиков и их организованности, целеустремленности. И что его отношение к войне является важной причиной его неудачи, в том числе и в августе 1917 года, во время «Корниловщины». Можно говорить о каких-то конкретных неправильных решениях, можно говорить в целом о том, что, в отличие от большевиков, у него не было четко очерченной социальной или, вернее, политической базы.

Взаимосвязь между Питером и периферией: как волна революции повлияла на другие регионы?

Конечно, это очень важный вопрос. Вопрос, имеющий отношение к судьбе гражданской войны. Много копий сломано, слов потрачено, есть много объяснений, многие из них имеют право на существование, в том числе чисто тактические: что большевики, выиграв в Петрограде, потом быстро захватили Москву и оказались в центре, а Россия – это страна с централизованными транспортными и экономическими связями. То есть, инфраструктура помогла в какой-то степени. Потом, из всех сил, участвовавших в гражданской войне, большевики были единственной организацией, во главе которой стоял харизматический лидер, чей авторитет был бесспорным для всех ее членов. Кроме того, большевики были в каком-то смысле хилиастами, или, как тут говорят, милленаристами. Они действительно верили в конец света, в конец старого мира с наступлением коммунизма. У них был другой тип мотивации, другой тип веры, иное отношение к насилию, которое для них было священным насилием, которое не просто оправдывалось, но активно продвигалось в их идеологии, документах. И, наконец, во время революции, когда происходит крах ре-



жима «до основания», имеет место некоторая тенденция к радикализации. Когда все рушится, больше всех шансов у тех, которые обещают все всем, которые верят в самые запредельные, трансцендентальные вещи, которые отказываются от компромиссов. Главная сила партии большевиков – в их отказе от компромиссов, бескомпромиссной ненависти к компромиссам. Это им очень помогло – как в отношении террора, так и с точки зрения того, что они говорили. Все остальные предупреждали, что сначала нужно с чем-то разобраться, предпринять какие-то практические шаги, провести земельные реформы, обсудить сроки прекращения войны, т.е. сделать массу всяких вещей, которые реалистичны, важны и правильны. Но в такой ситуации выигрывает не тот, кто реалист, не тот, кто правильный, а тот, у кого идеалы ярче.

Почему обещали землю крестьянам, заводы рабочим, а получилось то, что получилось – коллективизация, индустриализация?

Когда они обещали, они имели в виду нечто другое. У тебя под руками все разваливается, а ты вдруг оказываешься во главе государства или какой-то структуры, которая вот-вот станет государством, и тебе нужно понять, где взять средства, нужно собирать налоги каким-то образом или дань, если угодно, нужно производить товары и прочее. С одной стороны, и это самая распространенная точка зрения, идеал столкнулся с реальностью. Но и идеал был неоднозначным. Если взять хрестоматийный пример, есть Ленин, который написал «Государство и революция», и есть Ленин, который написал «Что делать?», и это как бы два разных Ленина, по крайней мере, две ипостаси и две стороны большевизма. У самой доктрины и партийной идеологии были разные стороны: в зависимости от ситуации, могли выходить на передний план одни или другие. Конечно, централизация лежит в основе большевизма – как в партийной организации, так и в их представлении о том, как строить диктатуру пролетариата. А с другой стороны, нужды гражданской войны, идея стихийности, революционного творчества масс.

Почему все-таки гуманные идеи перешли в террор, в геноцид и истребление людей?

Тут нужно исходить из того, в каком смысле мы можем назвать эту идеологию гуманной. С точки зрения окончательной цели, счастья людей? Если ты идешь к этой цели посредством насилия (а это было заложено в идеологии изначально: нельзя было быть большевиком и не подписываться под этим), то речь не идет о классическом определении гуманизма. Диктатура пролетариата – это форма насилия, революция

- это форма насилия. Поэтому мне кажется, что парадокс не так силен. Большевики не говорили, что им не нравится насилие. В этом смысле они никогда не были гуманистами. Как партия, они сплотились вокруг идеи, ведущей к насилию, рожденной в ожидании насилия. И в этом смысле, на самом отвлеченном, абстрактном уровне, они не так сильно отличались от бесконечного числа других человеколюбивых идеологий. Хрестоматийный пример в западном мире: с одной стороны, человеколюбие и гуманизм христианского Евангелия, с другой, откровение святого Иоанна, Апокалипсис, море крови как обязательная часть пути в тысячелетнее царство. Иначе говоря, у большевиков есть свои особенности, но переход от пункта А к пункту Б не представляется таким уж парадоксальным.

То есть, как сказал Гувер и другие, обязательно следовать этому принципу: революция – война и потом уже мир. Это логическая линия.

Да, мне кажется, что большевики из этого исходили. Должен был погибнуть мир, который им ненавистен, мир угнетения, несправедливости и неравенства. Сам по себе он никуда уходить не собирался. Большевики исходили из того, что этот мир рухнет катастрофическим образом, как часть невероятного катаклизма. Кровь, революции, войны, страшные человеческие жертвы – все это было частью пророчества. Другое дело, что получилось дальше при Сталине, как сталинизм соотносится с ранним большевизмом, с Лениным и так далее – это можно считать отдельным вопросом.

Стала ли русская революция символом для других революций, перемен, которые последовали в 20-м веке?

Стала и не стала. Если говорить об истории революций, то русская революция приходит в голову одной из первых. Американскую революцию не все назовут революцией. У разных историков разные критерии. Но если говорить о классических революциях, то французская и русская – первые и для многих последние. При ближайшем рассмотрении, у «бархатной» революции и большевистской революции мало общего. Что их объединяет, - это смена режима. Но режимы меняются все время, разными способами, и при желании все это можно называть революциями. Тут все дело в терминологии. Для большинства историков, чтобы назвать смену режима революцией, нужна некоторая степень радикализма, определенный уровень насилия. А о том, сколько нужно насилия и радикализма, мы с Вами можем договориться. Например, конец Советского Союза – в каком-то смысле радикальное преобразование. И были жертвы, безусловно. Но можно ли это назвать революцией? Зависит от того,



какие у нас критерии. А стала ли символом? Конечно, стала – символом трагедии и символом надежды. Для кого как.

Были ли какие-то перемены в историографии по изучению русской революции после распада Советского Союза? Что же случилось в историографии, в изучении истории в России, на постсоветском пространстве и по отношению к США? Есть ли какие-то точки соприкосновения или можно говорить о параллельных историографиях, то, что мы называем постсоветская или российская современная историчность и современная американская ...

Мне кажется, они постепенно сближаются. Во времена холодной войны было две разные науки, два разных типа институтов, и хотя люди пересекались, общались, читали, работали, говорили они на разных языках, читали в основном разные книги, по-разному относились к предмету. Сейчас это уходит. И в значительной степени можно говорить об общем деле, об одной историографии русской революции на разных языках, с разными подходами. Но, конечно, некоторые различия остаются ...

Связанные с языком или с мышлением?

Язык, конечно, очень важный элемент. Но есть еще одно существенное различие. В России и в других постсоветских обществах революция - часть истории, которую ты считаешь своей собственной. В Америке история русской революции имеет отношение к твоему геополитическому и идеологическому противнику. В общем виде эти различия сохраняются.

Можно ли говорить о каких-то новых тенденциях в изучении русской революции?

После открытия архивов появились новые интересные работы по каким-то конкретным вещам, конкретным открытиям. Совсем иначе сейчас выглядит историография гражданской войны. Очень сильно изменилась историография сталинского террора, если его считать частью революции (некоторые считают его постскриптумом к революции, некоторые – заключительным ее аккордом, некоторые весь советский период считают одной долгой революцией, которая, наконец, закончилась в 1989 году, с террором в центре). Есть тенденции, не имеющие прямого отношения к архивам, но связанные с общественным и политическим контекстом, в котором существуют историки революции. Например, наш с Вами общий интерес: многонациональность как составляющая революции. Мы ее называем русской, имея в виду Российскую империю. Большая часть революции происходила на территориях не этнически русских, и эта состав-

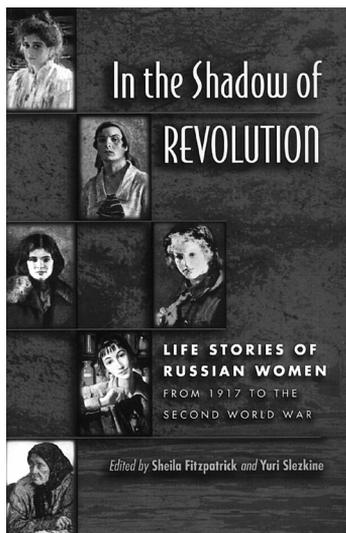
ляющая, конечно, стала очень важной в связи с взрывом интереса к этничности и многонациональности в Европе, России и Америке.

В этом контексте я хочу спросить и о Вашей последней книге, одной из важных новых работ - «Истории дома на набережной в Москве», которая написана как раз в контексте революций, в контексте России. Можно ли считать эту книгу новым подходом в изучении русской революции?

Я надеюсь, что да.

Что нового в этой книге?

Это история большевистской элиты с момента вступления юношей и девушек в социал-демократические студенческие кружки до момента казни большинства из них во время террора. Эта история не новая. Новизна в том, что это взгляд на революцию с точки зрения быта, повседневности, семейной истории революционеров и высшего эшелона советской элиты. И важно это не с точки зрения простого любопытства и интереса к личной жизни как таковой, хотя и это интересно, если говорить об этом именно как об истории человеческих отношений. А важно это, в первую очередь, потому, что для любой революции главная проблема – это семья. В человеческой истории нет института, более консервативного, более важного, чем семья. Всякое человеческое общество, так или иначе, регулирует и дисциплинирует производство потомства. В свое время были, если помните, разные исторические фантазии об обществах без семьи, но, насколько можно сейчас об этом судить, таких обществ никогда не было. Если мы говорим о революции не как о смене режима, а как о попытке построить новую цивилизацию, начать жить совсем по-другому, раз и навсегда отречься от старого мира, то это – то же, что бывает в так называемых религиях спасения, которые, так или иначе, предрекают конец человеческой жизни, какой мы ее знаем. Если к революции относиться таким образом, а мне кажется, что большевистская революция такой и была, то главной проблемой становится семья. Потому что единственный способ положить конец бесконечному круговороту человеческой жизни - это разрушить или изменить семью. Единственный способ преодолеть потребность в собственности - это что-то сделать с институтом наследования, т.е., с институтом семьи. Главная угроза любой идеологии





равенства - тот факт, что все человечество всю свою историю делилось, в конечном счете, на семьи. А всякая семья - это торжественное обещание подвергать дискриминации весь остальной мир в пользу одного или нескольких половых партнеров и потомства, рожденного в результате этих отношений. Все это, может быть, звучит слишком абстрактно, но если серьезно смотреть на эту проблему, если считать важным, как и что большевики думали о семье и, главное, как они сами жили в кругу семьи, чему учили своих детей, чем образование юного большевика отличалось от, например, обучения христианина в воскресной школе, все это имеет непосредственное отношение к тому, чем была революция, кем были революционеры, как революция закончилась и почему коммунистическая идея не пережила первое поколение идеалистов. Я не один раз упомянул христианство в качестве аналогии, но, конечно же, христианство замечательно своей выживаемостью.

Мог бы стать атеизм одной из основных ошибок в устройстве семейного быта?

Может быть. Причем, не просто атеизм.

Или уничтожение церкви?

Да. Любая идеология отвергает легитимность своих конкурентов, особенно такая тотальная, мощная идеология как марксизм-ленинизм или христианство. Понятно, что если ты говоришь, что у тебя есть ответы на все вопросы, ты понял, как устроена история, знаешь, к чему она ведет, знаешь, что нужно для того, чтобы ее, так сказать, подтолкнуть в том или ином направлении, то зачем, при чем тут христианство? Тут вопрос в том, уничтожишь ли ты его насильственным образом сразу или дашь ему умереть потихоньку. Вопрос не в том, как большевики относились к христианству. Понятно, что они к христианству хорошо не могли относиться. Вопрос в том, чем они это христианство заменили. Иисус начинал с маленькой секты. Все его ученики были мужчины. Христианского общества при его жизни не было; инструкций о том, как жить человеку в обществе, он не оставил. Но церковь смогла адаптироваться, сформулировать определенное отношение к общественным институтам. Иисус говорил, что вы должны оставить ради него своих детей, родителей, братьев и сестер, и если вы их не ненавидите, вы не можете стать его учениками. Но прошло совсем немного времени, относительно говоря, и брак стал таинством, которое церковь определяла и защищала. У большевиков плохо получилось. Если говорить не только об атеизме, а о марксизме-ленинизме в целом, то вопрос в том, в чем он заключался и какое отношение он имел к жизни людей (в том числе самих большевиков у себя дома). Христианству уда-

лось привязать свое пророчество и идеологию спасения к повседневному ритуалу. В христианском обществе не мог родиться ребенок, которого так или иначе ритуальным образом не вовлекли бы в официальную веру путем крещения. Нельзя было жениться без участия церкви. Большевики так и не придумали, как с этим быть. Можно сказать, что их идеология оказалась неполноценной или неудачной в том смысле, что они так и не смогли проникнуть в дом, в семью. Это слишком длинный ответ; Вам, наверное, придется немного его сократить, но, так или иначе, я Вам описал то, что, помимо каких-то конкретных судеб и эпизодов, составляет стержень книги. Новое в ней – это взгляд на русскую революцию из квартиры русского революционера, взгляд на большевизм из семьи большевиков. А они, удобным для моих целей образом, жили в одном доме. Очень редко бывает, чтобы члены правительства огромной державы жили как соседи под одной крышей и воспитывали своих детей в соседних квартирах.

Можно считать Вашу книгу продолжением Вашей работы о коммунальной квартире?

Нет, скорее отрицанием, потому что в статье об истории советской национальной политики я использовал образ коммунальной квартиры в качестве метафоры. А тут это не метафора, тут речь идет о реальных квартирах в реальном правительственном доме. У себя дома всякий идеалист изменяет своим идеалам. Важно и интересно посмотреть на то, как они мучились, как задавали себе разные вопросы, как в своих дневниках и письмах пытались понять, что значит быть коммунистом дома, что значит воспитывать детей правильно, как жениться, с кем иметь отношения и т.д.

Почему все-таки убили царскую семью, кому она мешала, тем более, что царь отрекся от престола?

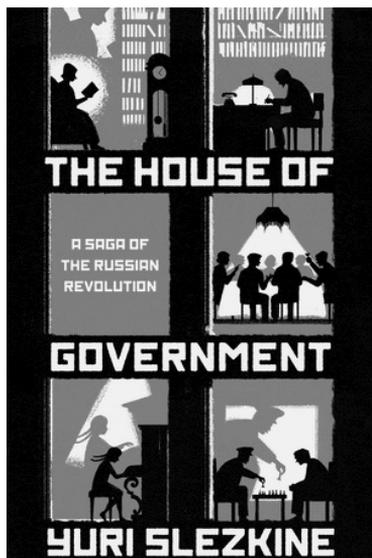
В этом смысле я ничего нового не скажу. Мне кажется убедительной старая теория, что он был разменной монетой в войне символов во время гражданской войны. И с точки зрения большевиков было бы хорошо, чтобы его не было на свете.

И последний вопрос. Как Вы объясняете ностальгию старшего поколения по Советскому Союзу, не только в России?

Я и сам старшего поколения. У меня у самого ностальгия.

Была ностальгия по нашему детству...

Не всегда можно отличить одно от другого. Я не могу сказать, что страдаю ностальгией, но я очень сентиментально отношусь к воспоминаниям детства. Я ничего не могу сделать с тем, что мое детство прошло в советское время, и у меня счастливые воспоминания, самые разнообраз-



ные детские воспоминания. И связаны они не просто с жизнью людей советской эпохи, но и с какими-то официальными советскими вещами вроде парада на Красной площади. У нас в комнате не было телевизора, и я бегал к соседке по коммуналке, Пелагея Ивановна ее звали, и стучался: «Можно я приду, парад посмотрю?». Бесконечное количество такого рода воспоминаний. Это вещь тривиальная, но мне кажется, что этому можно дать и более конкретное и компетентное социологическое объяснение. В 90-е годы очень многие пострадали экономически, пострадали морально - в том смысле, что рухнули устои жизни, пропала

ориентация во вселенной. Это был кризис очень болезненный, и, по контрасту, память о стабильных временах....

И в первом, и во втором случае пронести через себя свои эмоции...

Я этим специально не занимаюсь, но, насколько можно судить, в условиях неразберихи, сумятицы, хаоса время, которое кажется антиподом всему этому – время порядка, уверенности, предсказуемости – кажется привлекательным.

В 2017 году есть повод отмечать столетие революции?

Конечно! Как можно не отмечать такое событие? Меня бы не было, если бы не было революции. Мои родители никогда бы не встретились, потому что они были из совершенно разных миров. И это справедливо в отношении миллионов людей. Так что никуда не деться, особенно нам с Вами, которые так или иначе вышли из этой революции, на которых она оказала влияние, которое видно повсюду: дома, на улице, среди людей, в том, как мы говорим, о чем говорим. Отмечать можно по-разному, но думать об этом, говорить об этом, мне кажется, очень важно.

Спасибо Вам огромное за интересное интервью!

Калифорнийский университет в Беркли, США, 30.11.2016
(Sergiu Musteață)



Yuri SLEZKINE is Jane K. Sather Professor of History and Director of the Program in Eurasian and East European Studies at the University of California, Berkeley. He graduated from Moscow State University in 1978 and received his PhD from the University of Texas at Austin in 1989. Professor Slezkine has written widely on Soviet History. In 2008, he was elected to the American Academy of Arts and Sciences. His new book, *The House of Government: A Saga of the Russian Revolution and Stalinist Reformation*, 2016 is a history of the most famous residential building in the Soviet Union, built during the First Five-Year Plan as a model of the “Communist organization of daily life” and a shelter for top government officials, poets laureate, and Red Army commanders (on an island still known as “the Swamp”). His previous book, *The Jewish Century* (Princeton UP, 2004), won the National Jewish Book Award; the Annual book prize of the American Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies; and the Association of American Publishers Award for the Best Scholarly Book in Religion. Other important works: *In the Shadow of Revolution: Life Stories of Russian Women from 1917 to the Second World War*, edited by Sheila Fitzpatrick and Yuri Slezkine (Princeton: Princeton UP, 2000); *Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North* (Ithaca: Cornell University Press, 1994); “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism,” *Slavic Review* 53, no. 2 (Summer 1994): 414-452; *Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture*, ed. by Galya Diment and Yuri Slezkine (New York: St. Martin’s Press, 1993).